

ТРИ РАССКАЗА

В ТЕЛЬ-АВИВЕ

В Тель-Авиве надо ходить пешком. Только тогда ты почувствуешь его дремотную левантийскую сущность, отдающую сладостью помоек и затхлостью пыльных манекенов. Пусть дикие жёлтые кошки следят за тобой длинными презрительными глазами и солнце, растопляя желания, всё ощутимее грозит сверзиться тебе на голову. В таком городе надо жить на крыше, писать стихи и спускаться вниз, единственно чтобы искупаться в море да закупить наперёд продукты, обеспечив себя едой ещё на несколько жарких влажных дней. Вот на одной из таких крыш, в комнате с залихватской надписью на двери «Мушкетёрская», проживал и проживает высокий уже не молодой человек с длинными русыми волосами. Готовит себе салаты, сидит у компьютера, принимает гостей.

Сегодня у него крепенький лысоватый Алексей из Иерусалима и широкоплечий черноволосый Олег, каждую минуту палящий мятую папиросину «Беломор».

– В ней масел нет, – объясняет, – чистый табак. Но, мужики, такая полезная вещь. Задумано именно для работяг: только нагрузил тачку – погасла. Что ж, оста-новись, перекури. Отвёз тачку – погасла, опять перекур.

Звонок. Олег отвечает:

– ...отец Макарий, отец Дионисий... Да, договорено, да места...

Закончил.

– Туристический бизнес, мужики, – извиняется, – паломники... То пусто, то густо...

– Олег, ты уже выучил испанский?

– Читаю Борхеса. Встаю в пять утра, пока жена спит, и начинаю.

– Что-то мы заговорились, – замечает хозяин.

Разливает хитрый пузатый бренди. Подняли стаканчики, ещё раз подняли.

– Был недавно в Днепропетровске, – Олег борется с «Беломором». Затянулся. – Ночевал в коммуналке у тёти: часы тикают, на стене ковёр с лебедем, на этажерке подшивки «Нового мира», «Юности», через дверь – запах уборной. Где они, семидесятые? Ау?

– А у меня свой Днепропетровск, – Алексей вольготно расположился: откинулся назад, вытянул ноги, – там, где я живу, за многоэтажками пустырь: высохшая трава, при ветре скрипящая будто железом, одинокая дорога, сожжённая автобусная обстановка. Репейника только нет да лопухов.

– А ты был в Днепропетровске?

– Не-а.

– Ну, за Днепропетровск! – предлагает хозяин.

Подняли, ещё раз подняли. Раз – и кончился бренди.

– Сколько ни растягивай...

Поднимается Олег, поднимается Михаил – хозяин.

– Пойду провожу, – говорит.

Гость из Иерусалима снимает с полки атлас, изучает: миллионы людей раскрашены разными красками. Положил обратно.

Стук в дверь. Входит серьёзный человек Виктор с женой Галей и его друг профессор Сидоров.

– Вот, – обижается с порога профессор, – в «Новостях недели» кто-то под псевдонимом Шломо Сидоров пишет разные глупости, а мне звонят и выясняют отношения.

– Где Михаил? – спрашивает Виктор.

– Пошёл Олега провожать.

– Да ну! Значит, он был?

– Конечно, был, вон бренди пустой.

– Жаль, давно не видел. Как он?

– В Рамат-Гане с Ирой.

Порывшись в портфеле, Виктор вытаскивает водку «Лобзик».

– Витя, а почему ваша водка так называется?

– Да лобзиком по желудку, – говорит профессор Сидоров.

– Это просто оригинальное, привлекательное коммерческое название.

Открывается дверь, заплетая ноги, входит совершенно пьяный Михаил, за ним, толкая его в спину, появляется маленькая нахмуренная девушка.

Иерусалимец ахает:

– Он же трезвый выходил!

– Вот, привела, – говорит девушка, – полчаса не мог открыть дверь на крышу.

– Она же не закрыта!

– Не мог!

Михаил делает два шага и падает в кровать. Девушка уходит. Изо всех сил борясь с опьянением, Михаил изрекает непонятное:

– Пирожки...

– Что – пирожки? – не понимает профессор Сидоров.

Но Михаил уже спит.

Смеркается. Рябит маленький телевизор, Виктор рассуждает о политике. Профессор кивает. Разливает «Лобзик», ещё разливает. Кончилось. Как-то неожиданно кончилось. В общем, сколько ни растягивай...

– Галя, поставь чайник! – командует Виктор.

Галя фыркает:

– Я в гостях.

Виктор горестно вздыхает и продолжает тему.

– Витька, помолчи.

– А что?

– Был у нас тоже один профессор, всё политикой интересовался. Даже с наушниками ходил, новости слушал...

Сидоров делает паузу.

– Ну и что?

– Умер. А политика осталась.

– Дурак ты, Сидоров. Алексей, как ты завтра?

– Не знаю. Подожду. Михаил проснётся – решим.

– Ладно, мы поехали.

Иерусалимец ещё посмотрел телевизор в полосах: блондинки – Россия, брюнетки – Израиль. Потрогал экран. Выключил. Вышел на крышу. На крыше девушка, приведшая Михаила, гуляет.

– Девушка, спасибо.

– Вместо того чтобы говорить спасибо, лучше бы проследили за ним. Если бы не я, он бы упал с крыши.

– Спасибо.

– Ему лечиться надо. Это запой, я знаю. У меня ещё в Дрездене были проблемы с братом.

– Вы из Германии?

– Да.

- И давно в Израиле?
- С девяносто четвёртого, а что?

Девушка нахмурена, резка, руки в карманах тоненького свитерка оттягивают вниз ткань и резко обозначают соски. У девушки, оказывается, полная грудь.

- Давайте чаю попьем?
- Не, не хочу. Пойду спать. Ему надо в общество анонимных алкоголиков записаться, – советует напоследок.

Закрывает за собой дверь.

Гость, нарушая правила, спускается по лестнице и уходит к морю. По дороге ночные клубы, пабы, гуляющие девчонки, парни. Ещё холодно, и на голые плечи девушек накинута куртка. Дорогу заступает амбалистый.

- Эй, дядя? – подмигивает.

Алексей поднимает глаза:

- Пип-шоу «Капуста».
- Почему «Капуста»?
- А что, оригинальное коммерческое название. Детей в капусте находят, разве не знаешь? Ну, зайдёшь?
- Не хочу.

Обогнул препятствие – и мимо фонтана на набережную: огни, небоскребы. Напротив Оперы множество свечей – память о теракте.

А наутро Михаил рядом долго ходил, шмыгал носом, что-то делал. Гость проснулся, посмотрел:

- Миша?
 - Да так. Будешь?
 - Может, не надо?
 - Да я по чуть-чуть. Между прочим, – проговорил с обидой, – вчера Семён, магазинщик, обвинил меня, что я ему пирожки рассыпал.
 - А ты?
 - А я обиделся.
 - А кто рассыпал?
 - Я случайно. Попытался ему заплатить, а он красный стал и говорит: «Иди, Миша...» Какое он имел право? Ну, будешь «Лобзика»?
 - Тебе надо в общество анонимных алкоголиков.
 - Это тебе надо. Так не будешь?
 - Нет.
 - Ладно, я допью... Кстати, салаты в холодильнике.
- Допил «Лобзик», посмотрел на пустую бутылку, сказал грустно:
– В общем, сколько ни растягивай...
Отключился.

Гость походил по комнате, поднял с пола плотно исписанный листок. Стихи...

Душа сбегает в ночь. Ей глупо
Смотреть в компьютер, мять кровать,
Торчать в окне, впадая в ступор,
И с кошкой мелочно страдать...

Разжал пальцы, листок спланировал обратно на пол.

Звонок:

- Алексей, ты что?
 - Да вот, Мишка опять напился.
 - Жди, заберу.
- Сели, нарушая правила, в машину, поехали в старый Яффо.
– Что машина? – рассуждает по дороге Виктор, – железо! Купил за три тысячи – и бегаёт. Хочешь, подскажу, где купить?

- Не надо!
- Как хочешь. Ага, не занято! Выходим. Галя, смотри, какая женщина! – обращается к жене. – Ты по сравнению с ней полный ноль!
- Ты тоже, – спокойно отвечает высокая тоненькая Галя в неожиданной белой панаме. – Кстати, тут есть хорошие рыбные рестораны.
- Виктор делает вид, что не слышит.
- Туалеты, – обрадовался, – подождите.
- Трое останавливаются. Галя говорит:
- Вы не находите, что он как-то странно понимает сказанное?
- Ждут. Смотрят на море, где в узкой бухточке скопились яхты.
- Интересно, как они отсюда выплывают? – задумчиво спрашивает Алексей.
- Вертолёт, – отвечает профессор Сидоров, неуместно смотрящийся среди гуляющих левантийцев в своём строгом костюме и светлой рубашке с галстуком.
- Ну и где же Виктор? – когда надоедает смотреть на яхты, волнуется иерусалимец.
- Он с собой ничего не взял? – интересуется Галя и почему-то смотрит на Сидорова.
- Да вроде Диккенс в машине остался, – неуверенно отвечает профессор.
- А то прошлый раз, – Галя поворачивается к Алексею, – взял с собой Библию. Я говорю, ты что, с ума сошёл? Так ведь его не переубедишь!
- Небось год сидел?
- Полчаса, – отвечает вместо Гали профессор Сидоров, – всего полчаса, но вышел в кипе.
- Появляется Виктор.
- Что расселись, пошли? Вот, Алексей, – обращается к гостю, – напиши, как мы ходили по Яффо!
- Как не пошли в рыбный ресторан! – добавляет злопамятная жена.
- Молчи, глупая! Напиши, как в ящиках лежали креветки и рыба, как резко пахло морем и араб в штормовке с опущенным на голову капюшоном приплясывал своими длинными молодыми ногами в джинсах около ящиков. Кричал: двадцать! пятнадцать! двадцать! только сегодня! только сейчас! Как стояли спинами ко всем нахохленные, насупленные рыбаки со своими длинными удочками, как играли в воде дельфины...
- Интересно, где ты видишь дельфинов? – интересуется Галя.
- Неважно, это художественное допущение! – отмахивается Виктор. – Как солнце то появлялось, то исчезало и сразу становилось холоднее, и люди никак не могли привыкнуть к этой меняющейся погоде, ходили кто в майках, кто в куртке. И вдруг небо заволгло и сыпануло дождём, рассыпалась крупная тяжёлая капель, но быстро, походя, и опять появилось, как бы дразнясь, солнце, и рядом на прогулочном кораблике вдруг засвистел в большой свисток капитан в такой замечательной фуражке и закричал грозным голосом:
- Все по местам! Отдать швартовы!
- Под корабликом загудело. И сначала переваливаясь, а потом гордо выпрямившись и высвистнув пенную струю, кораблик поплыл прочь изо всей силы крича «Золотой Иерусалим!» громкоговорителем.
- И ещё расскажи... – продолжает Виктор.
- Как мы не пошли в рыбный ресторан! – упрямо добавляет Галя.
- А не пора ли нам «Лобзика»? – интересуется профессор. – Что-то мои профессорские мысли начинают разбегаться.
- Виктор сосредоточенно думает.
- А что, в принципе правильно, у нас дома и борщ к нему имеется.
- Борщ – это хорошо, – благосклонно кивает профессор Сидоров, – горячие закуски самые хорошие.

Но как ни растягивай...

Через несколько часов убегает назад дорога из Тель-Авива в Иерусалим, в маршрутке здоровенный негр, китайцы, два араба, румын, пять экономящих деньги филиппинок на одном сиденье и тёплый от «Лобзика» некий лысый. Начинает было дремать и вдруг раскрывает глаза: навстречу по бордюру, качаясь от ветра, идёт молодой религиозный еврей. Глаза в восторге, руки раскинул, белая рубашка вырвалась из брюк, пузырится, в руке шляпа. Идёт и не падает.

Иерусалим, 2005

САНИТАР

Я не мог пройти мимо, чтобы не пожелать ей смерти. Но она уже не могла умереть. Вытянутая в струну, неподвижная, бессловесная, ещё такая молодая, она была обречена валяться здесь в вонючих простынях, и только еле теплившиеся глаза выдавали, что в этой разрушенной оболочке ещё есть душа.

История лежачей была предельно проста: её вытолкнули замуж за такого же, как она, ортодокса и, выполняя заветы, эта женщина начала без перерыва одного за другим приводить в мир детей. Пока... пока что-то не разладилось в её организме, и во время очередных родов она превратилась в напряжённый кусок дерева.

Муж, быстро оценив ситуацию, с разрешения раввинов женился на другой, а детям, чтобы не было лишних проблем, сказали, что мать умерла.

Единственный человек, приходивший к поверженной, раскинувшей на подушке с клеймом больницы чёрные, неувядающие косы, была маленькая скромная старушка с вечным узелком в руках. Но что старушка? – Поплачет и уходит. Поплачет и уходит.

Сейчас ночь. Но такая ночь не приносит облегчения, эта ночь, как лицо нездорового человека, и её разрывают перебои – кашель, вздохи и судорожные всхлипы сквозь сон.

Рядом со мной «везунчик» с красивыми, пышными усами. И чтобы скоротать время перед рассветом, он рассказывает поучительные сказки, как надо жить.

– Вялый ты, – говорит он мне даже не насмешливо, а участливо и сожалеюще, – ничего не умеешь, нет у тебя вкуса этого... Вот смотри, был у меня парень: умница, из профессорской семьи, отец знаком с Чазовым, после института сразу в исследовательский центр, оттуда в Швецию учиться, возвращается и делает кандидатскую, впереди докторская. А он: раз кульбит – и в совместное предприятие. А почему? Жить хочет. И не потом, а сейчас, немедленно. Понимаешь? – «Везунчик» потягивается и продолжает покровительственно. – Я вот тоже после института ничего не знал, но обращался с больными очень-очень внимательно. И да – имел парнасу.

Я слушаю его, опустив голову, я ведь, в принципе, согласен: что за бестолковость такая – быть нищим.

Но вот, слава имени Б-жьему, за окнами, наконец, бледнеет, и мы, зажигая резкий, почти обжигающий с утра свет, идём поднимать больных.

Сначала толстого Хануха с болезнью Дауна, потом крошечную, дерущуюся спросонья старушку Малку, ещё тридцать молчащих стариков, барина Реувена без рук без ног в его отдельной палате и напоследок живой кошмар из фильмов ужасов – огромную безумную женщину, привязанную к кровати. Как пропасть, открывается её рот при виде человека, и ты окатываешься неостановимым жутким криком.

После подъёма кормление, и я кормлю толстого Хануха, а чтобы было веселее, рассказываю ему случай:

– Понимаешь, Ханох, – говорю, – вчера в квартале Ромема иду через детскую площадку, а там в песке возится мальчик лет пяти: бритая голова, пейсы, кипа на бритой голове. Вдруг он поднимает глаза и смотрит. А я на его папу ведь совершенно не похож... и без чёрного костюма, и без бороды, пейсов... И он спрашивает: «Скажи, ты гой? Гой, да?» – Я не знал, что ответить. Просто растерялся. Понимаешь, я ведь и сейчас не знаю, что ответить... А, может, ты знаешь?

Но Ханох не знает и сладко улыбается, глотая кашу.

– Ладно, неважно, – прощаю я его тугодумие, – главное, чтобы ты поел хорошо, – и от доброты душевной предлагаю, – я тебе ещё расскажу, у меня припасено... но, правда, только завтра, а то сегодня я устал.

Встаю, оставляя сытого Ханоха, и перехожу к недавно поступившей Лизе родом из России. Но когда подношу ложку к её рту, закрываясь ладошкой, она спрашивает шепотом:

– Скажите, мы случайно не в Германии?

– Нет.

С облегчением:

– А где?

– В Израиле

– В Израиле? Точно?

– Да.

– Ну ладно... – и когда я прекращаю давать еду, она всё ещё в недоумении поджимает губы.

Смена заканчивается, я переодеваюсь и с удовольствием выхожу в привычную жизнь. «Везунчик» быстро лезет в свою машину: он должен спать, а потом учиться, чтобы, вернув себе звание, опять брать взятки. А я после бессонной ночи бреду по проснувшейся земле, впитывая в себя утро.

Десять лет назад я работал чиновником в зоне для уголовников, и ко мне подошёл один, жёлтое лицо, бритый... Спрашивает:

– Ты еврей?

– Еврей.

– Я тоже. Ты не смотри, я не какой-нибудь, я не убийца, – и с гордостью, – я был директором универсама, всё через мои руки, так что сам понимаешь...

– Понимаю.

И тут его позвали:

– Жид, эй, жид, тебе говорят! Иди сюда быстро!

– Да иду, иду, – огрызнулся он, проводил понимающим взглядом и больше не подходил.

А теперь «везунчик» говорит мне, как надо жить...

Кроме «везунчика» я ещё имею честь работать с бывшим директором Невского рынка в Ленинграде. Я вообще жил в Ленинграде, но на Невском рынке не бывал, и он говорит мне теперь, что это очень интересное и приятное место. Вдвоём с женой они сняли в Иерусалиме и забили вещами на продажу пятикомнатную квартиру, плюс что-то ещё плывёт на парохоме, и он достаёт меня, не хочу ли я купить пианино? Я отбрыкиваюсь и злюсь.

– Ханох, – начинаю на следующий день, – в России, так получилось, я был проверяющим. Так вот, послали меня проверить стоматологическую поликлинику в районе. И там, в одном из кабинетов, вдруг вижу, что один из местных стоматологов, не меняя и не стерилизуя, одним и тем же грязным инструментарием лезет из одного рта в другой.

Сажусь писать акт, и тут меня просят выйти. – Выхожу... Стоит этот самый стоматолог и спрашивает: «Ты еврей?»

– Да.

– Собираешься в Израиль?

– Собираюсь.
 – И я тоже. Не пиши ничего. Эти гои всегда будут нас ненавидеть. А нам-то делить нечего...
 – Скажи, – интересуюсь, – ты там, в Израиле, будешь работать опять стоматологом?

– Конечно...
 – И что, собака, этой мерзостью, когда я приду на приём, ты ко мне в рот полезешь? Да я тебя тут закопаю... чтоб не доехал.

При этих словах Ханох резко дёргает головой и с него слетает кипа. Я поднимаю её и водружаю обратно: у Ханоха есть заботливый брат, который очень строго следит, чтобы милый Ханох всегда был в кипе.

Вы знаете, я ведь ничего не забыл и ни к чему не привык. Во мне очень много злости. Я за всеми записываю, не собираясь ничего прощать.

Шабат. Двойная оплата. Двойная оплата для меня, везунчика и бывшего директора, которым эмиграция списала всё. Они нашли общий язык и шлёпают карты об стол, когда есть перерывы. А ещё двойная оплата для одной медсестры, которая, чтобы включить-выключить свет¹, с хитрым видом зовёт меня – что ж, я выключаю. Я тоже боюсь Б-га, но позволяю себе вольности, одновременно также позволяя себе ещё роскошь и не мучиться от этого.

Работая здесь санитаром, я усвоил два правила.

Первое: нет ничего грязного.

Второе: человек имеет право на старость. На любую старость. Даже на такую.

Со временем больные старики перестают говорить. Едят, спят, механически делают, что от них просят, но не говорят. Отгораживаются от мира, который им больше не интересен. А если и вымолвят слово, то только на том языке, который подарила мать. Всё остальное уходит. Ухает в пропасть. И человек возвращается к началу голый.

...Малка потухает. Местное её прозвище – «Свадьба». Раньше, услышав это слово, задорная старушка начинала смеяться и танцевать. А когда один идиот однажды спросил её, подмигивая окружающим:

– Малка, выйдешь за меня замуж?

Та, как бы внезапно обретя снова разум, неожиданно ответила:

– Тебе только на моей бабушке жениться...

Но теперь Малка больше не танцует. Она сидит – вялая и безучастная... Дело в том, что она упала. Вроде ничего не случилось, ничего не сломала, но она потеряла жизненную силу – внутри поселился страх, и теперь этот страх ест её поедом, не давая ей даже ходить. Кровать Малки находится как раз напротив лежачей больной, в который раз вынужденной наблюдать чужую смерть.

Скоро Йом Кипур²... Двойная оплата. Время Б-жественной подписи под твоей судьбой. В эту звёздную, необычную ночь я подойду к лежачей с чёрными косами и лягу на неё – пусть вспомнит. Пусть загорятся её глаза, пусть даже и ненавистью – это будет питать её душу.

А утром – утром я уволюсь.

В период между Новым Годом и Йом Кипуром люди делают друг другу разные хорошестьи. Нищим подают, улыбаются при встречах, даже могут временно подождать с долгами.

Я глотаю это, как банан.

Иерусалим, 1996

¹ В шабат религиозному человеку нельзя пользоваться электроприборами.

² Судный день (*иврит*).

И ВЫПАЛ СНЕГ

Нет, ничего. Просто в мире всё время что-то происходит. Земля было укрылась холодным чистым покрывалом, но снег превратился в град, рассыпавший свою дробь по белым дорожкам, потом в дождь – немножко поплакали, и опять в снег, густо бросаемый ветром в лобовое стекло заблудившейся в дороге машины. Снегом занесло входы Яффских, Львиных и Дамасских ворот, улочки старого города, улочки нового города, беззлобное чудище Кирыт-Ювеля, дурацкую корову Армонха-Назив, закрывшиеся монастыри Эйн-Керем. В изнеженной солнцем стране прекратили ходить поезда и автобусы, люди остались дома, и бульдозеры, мигая друг другу жёлтыми огнями, начали кропотливо расчищать дороги на завтра. И вот, в такое тяжёлое февральское время из аэропорта Бен-Гурион вышел на пронизывающий холод молодой-не молодой, старый-не старый, но в очках, и вытащил за собой чемодан с наклейками. Почти сразу он увидел маршрутку до родного Иерусалима, рядом – переминающийся тёмный силуэт человека, и обрадованно подошёл к ней. Забросил чемодан. Стоящий, с почти летящей по ветру сухой чёрно-седой бородой, заметил взгляд, и сказал раздражённо:

– Не холодно!

– О, десятый! – обрадовался появившийся шофёр и весело приказал бородатому. – Садись, душа моя, пора! – Также весело устроился на своём месте и доложил в шипяще-кряхтящий микрофон. – Моти, Моти, выезжаю.

– Давай, надо ещё к трёхчасовому успеть.

Шофёр хмыкнул и включил зажигание. Машина в своей внутренней наполненности тяжело тронулась, и за ней потянулась полоса чёрного, мокрого асфальта. Устроенный впереди бородатый достал из кармана маленькую гранёную бутылочку, свинтил маленькую пробочку, опрокинул в рот жидкий градусный янтарь.

– Мы с женой доедем до Маале Адумим? – спросил шофёра старый человек в плаще.

– Думаю, да.

– Вообще большое легкомыслие, – быстро проговорила дама справа, – брать людей в снег, ведь никакой ответственности: а если застрянем?

– Застрянем – пойдём пешком.

– Вы смеётесь!

– О чём они говорят? – высокий английский голос очень чужого, бережно кутающего шею в цветной шарфик.

– Израильский спор об ответственности, – ответила особа в кокетливой шапочке.

– Бьютифул.

– Знаете, я только что из Канады. Там столько снега.

– О'кей.

– И никто не пугается.

– О'кей.

– А у нас всё проблемы.

– О'кей.

Машина замедлила ход. На выходе из Бен-Гуриона резко освещён автоматчик – чёрное небо, белый снег, царапнул взглядом, поднял провожающе руку.

– Теперь, главное, не останавливаться, – объяснил шофёр. – Душа моя, – любопытствовал у соседа, – а что ты пьёшь?

– Коньяк.

– Поделись. В такую погоду-то...

– Маленькие кончились, – тихо ответил тот.

– Так дай из большой!

Бородач замялся, но вдруг, решительно встряхнувшись, открыл лежащий на коленях портфель и достал оттуда угольную литровую бутылку:

– Я лардж! Куда?

– Какое легкомыслие, – ужаснулась дама.

– Немножко не страшно, – успокоил шофёр и осторожно отнял наполовину наполненный пластиковый стаканчик, – хватит, хватит.

– Ещё кому? – спросил бородач, обратившись назад, и поднял бутылку. – Я могу. Видите, я не жадный.

Огни Бен-Гуриона ушли назад, и ночь затопила дорогу. Ни встречных машин, ни обгоняющих, только фары безостановочно освещают идущий безмолвный снег. Люди притихли, пригрелись, и тут проснулся Моти в шипящем передатчике:

– Ну, где вы?

– Едем!

– В Иерусалиме возьмёшь моего племянника, он в пабе застрял.

Осторожное продвижение по узкой расчищенной полосе, вращающиеся огни редких трудно работающих бульдозеров, их равномерные всполохи внезапно тревожно освещают жёлтым быстрым окружающее и мгновенно гаснут, оставаясь позади. Неожиданно застучал по стёклам град и опять сменился снегом, торжественно, как борода патриарха, закрывшим видимое пространство. Дворники заработали сильнее, и послышался их чуть слышный натужный скрип.

– Ой-йо-ой! – вздохнул шофёр.

– А где-то потепление, – сказал кто-то невпопад.

– Понимаете ведь что? – пробудился бородач. – Сверху если посмотреть, мы все, все шесть миллиардов, кажемся единым телом с одними и теми же не меняющимися качествами: корысть, эгоизм, жадность. Казалось бы, что стоит открыть бутылку, дать ближнему двадцать капель – так ведь скупись, думаешь. Переделывать себя надо, трудиться.

– О чём он? – опять спросил англичанин.

– Рассуждает, – особа сняла шапочку и рассыпала русые, кудрявившиеся снизу волосы по плечам.

Снег идёт плотно, густо, и уже не видна дорожка асфальта, фары меланхолично вырывают из темноты и также не торопясь отпускают обратно то озябшее одинокое дерево, то брошенную на обочине заглохшую машину, то... чу! Мелькнула прыгучая тень. Заяц? Мгновенная вспышка, ещё одна – один из сидящих принялся фотографировать через голову шофёра снег и ночь.

– Что вы делаете! – воскликнула дама. – Вы же напугаете шофёра!

– Уже напугал, – сообщил шофёр.

Моти через свист и кряхтение заявил обиженно:

– Племяннику пришлось взять такси.

– Моти, иерусалимский коридор в снегу, я только заправку проехал.

– Ладно, подберёшь меня на Бецалель.

– Господа, – проговорил до того молчавший, – я думаю, правильно будет заплатить водителю сверх обычного.

– Очень верно! – откликнулся шофёр.

– Шекелей десять, не больше.

Въехали в Мавассерет Цион, выехали, и по длинному, как лассо, кругу стали медленно подниматься. Слева провал – туда, в заброшенные в глубине дома, сжимаясь, как масло, уходит днём ночевать ночь. Справа нависло над душой кладбище, сейчас обвалится краями. А после мигающего светофора уже не свернуть, не спрыгнуть, не остановиться: с закрывшимися под снегом глазами зданиями надменно вырастает Иерусалим.

– Кто хотел в гостиницу?

– Подъедьте ближе.

– Душа моя, я застряну. И со мной все люди.
«Душа моя» недовольно прыгнул, открыл зачем-то зонтик и с чемоданом пошёл прочь, оставляя на нетронutom снегу чёткие следы.
– По воде аки посуху, – сказал очкарик с фотоаппаратом. Нацелился щёлкнуть, но не успел.
– Следующий!
– Подъедьте ближе.
– Не могу.
– И я должен платить? Вы обязаны...
Бамц –снежок влипился в окно, бамц – ещё.
– Вам что, в два часа ночи делать нечего!? – закричал наружу шофёр. – Две нелепые фигуры маются, замахали руками. И сам себе ответил. – Видимо, нечего.
От крика проснулся бородач:
– О, Иерусалим! Добрались.
Запрыгнул внутрь кряжистый Моти:
– Наконец-то!
Завозился, отряхиваясь, задышал в красные озябшие руки.
– Кирьят Моше, какая улица?
– Сюда, правее.
– Уважаемая...
– Уважаемая, туда проехать невозможно, – вмешался Моти, – это я говорю, водитель с тридцатилетним стажем!
– Что значит невозможно, когда мне надо?
Шофёр посмотрел искоса, свернул правее, потом медленно ещё правее. Дама торжествующе слезла.
– Может, кто хочет коньяк? – грустно спросил бородач. Помолчал. – Вы знаете, души праведников для окончательного исправления должны спуститься в рыб.
– О чём он говорит? – опять спросил англичанин.
Но девушка уже сошла, и ему не ответили.
– ...Так вот, вкушая рыбу, человек совершает богоугодное дело, освобождая эти души. – Вздохнул. – А я люблю рыбу с коньяком.
И опять пошёл снег.

Иерусалим, 2003